



### **Виктор СЕРГЕЕВ**

*Виктор Николаевич Сергеев родился 27 июня 1943 года в селе Чуфарово Майнского района Ульяновской области в крестьянской семье. Отец, Николай Иванович, шорник по специальности, пропал без вести в Великую Отечественную; мама, Анисья Петровна, оставшись одна с тремя малыми детьми, работала в колхозе, как она говорила – «от тёмного до тёмного». Окончил Буйковскую среднюю школу в 1961 году. Детство, отрочество и юность прожил в Чуфарове.*

*В городе Магнитогорске в профессионально-техническом училище получил профессию газосварщика. Работал на заводах и стройках. Любовь к литературе и насыщенный жизненный опыт, когда появилось устойчивое желание поделиться наблюдениями, мыслями и чувствами, склонил автора к сочинительству. Прозаик, член Союза писателей России, автор нескольких книг: «Первый круг» (Саратов, 1985 год), «Родственники» (Москва, «Современник», 1986 год), «Рыжие берега» (Ульяновск, «Симбирская книга», 1993 год), «Синее небо с белыми облаками» (Ульяновск, «Регион-Инвест», 2007 год), «Свидетельницы» (Ульяновск, «Вектор-С», 2008 год). Рассказы и повести публиковались также в местной периодике, в литературных журналах и альманахах Поволжья.*

## НА ПОКОСЕ

### ПОВЕСТЬ

*Посвящая сыну*

Оставшиеся в живых фронтовики села Строковки вернулись домой в первый же год после войны. А у восьмилетнего Стёпки Васюкова отец залежался в госпитале. Он давал о себе знать письмами-треугольничками, в которых упрасивал жену не волноваться о нём; мало того, двусмысленно намекал о том, что, мол, своими ногами уходил на фронт, своими-де ногами и дотопаёт до дома.

Однажды Стёпка с очередным отцовским письмом убежал к безногому, молчаливому и угрюмоватому соседу Будилину. Прочитав ему коротенькое письмо, Стёпка опрометчиво и хвастливо рассудил:

– Я бы ни за что не отдал фрицу ногу. У папки всё-всё... цело. Обещает на днях прийти на своих ногах. Я весь в папку догадливый. Прошлым летом мои годки с голодухи померли, а я не поддался: в пруду наловил лягушек, сварил их в чугушке и досыта наелся. Когда ел, спина взмокла. Слаще баранинки...

– Чья спина-то взмокла? Лягушкина? – насмешливо переспросил Будилин.

– Нет, дядя Будилин, твоя спина мокреет, когда с колхозных амбаров вертаешься, – съязвил Стёпка, отступив от соседа.

По осунувшемуся лицу Будилина распознала лукавая ухмылка, которую он тут же согнал покорёженной немецким осколком ладонью. И помимо своего желания глуховато промолвил:

– Ох, паршивец ты, Стёпка. И в кого? Отец был, кажись, не лепетун, мать – баба скромная. То-то у тебя в животе квакают лягушата, а соплями взнуздан себя.

Стёпка проворно избавился от своего зелёного добра и вытер нос лопухом. Обрадовавшись, что сосед подал голос, он вытарасил на него глазёнки.

– Хочешь знать, – продолжил Будилин, – безрукие и безногие фронтовики подолгу отсиживаются на станции с мыслью: идти домой или погодить? Сам три дня выжидал, стеснялся своим показываться. За некоторыми приезжают на подводах родственники. Твой папанька, чай, тоже ждёт не дожждётся тебя, а ты

тут свой язык распоясал...

В то знойное лето в Среднем Поволжье хлеба на полях выгорели, еле-еле намолотили на семена, а где-то и вовсе ни зёрнышка не собрали.

Строковку беда миновала: озимые, яровые и прося с чечевицей уродились, точно в урожайный год.

В село понаехало областное и районное начальство. Им хотелось удостовериться, на самом ли деле здесь живут хлеборобы-колдуны? Начальники колхозов не обнаружили. Они завистливо поворошили руками жёлтое зерно, приказали засыпать его на семена и уехали, так окончательно и не поверив в урожаи ржи, пшеницы, проса и чечевицы.

Сама Строковка, рассыпавшись избами по родниковому взгорку, будто бы только что вышедшая из густого леса, в тенистых оврагах которого снега таяли до самого троицына дня, в обиходе называлась Мокровкой.

За колхозными амбарами, где до нэповских времён махала крыльями мельница-ветрянка, после росных ночей неделями клубился непроглядный туман.

И народ строковский – работающий. На прополку выходило всё село, от мала до велика. От бабьих нарядных кофт и платков поля пестрели, точно расцветшие луга.

Однако строковские тоже заволновались: хлебам пора в рост пойти, а с неба ни капельки не упало. Старухи, старики и дети, даже подростки и девчонки-молодки с иконами в руках по негласному зову собрались толпой у пересыхающей запруды и стали читать молитвы...

Среди старух, в первых рядах, крутился любопытный Стёпка. Он остановился возле рослой старухи Прасковьи, уставился на её икону. Всякие видел иконки, а такую не встречал: величиной с букварь, а в себя вместила и Божью Мать с ребёночком, и ангелов, и апостолов... Хотел спросить, как она называется, да вдруг Прасковья заглядывала по сторонам, свободной рукой поджала живот, согнувшись пополам,

спешно всунула опешившему Стёпке иконку и побежала за баню.

Стёпка спровадил иконку под рубашку и первым заметил над ломаной кромкой леса уголок чёрной грозовой тучи. «Ура, ура! Дождя намолмили!» – крикнул он во весь голос и заплясал на одном месте, увлекая в пляску старух.

Воспользовавшись суматохой, Стёпка убежал домой. Ливневый дождь с градом настиг его у крыльца дома. Он расхлебывал все двери, и, чтобы град перестал сыпать с белой тучи, повыкидал на улицу кочерги и ухватывал.

Прасковью иконку поставил на старинный комод в бывшей бабушкиной комнатке, в которую заглядывали редко. Мать обычно спала и отдыхала в задней избе, за русской печкой.

Стёпка недолюбливал Прасковью за сплетни, будто мамка привечала мужнина брата... Наговаривала небылицы в отместку: Вера не вышла замуж за её сына.

Он злился, что мать переносила наговоры спокойно, даже просил, чтоб она отругала старушку. Мать же вставала на колени перед красным углом и молилась.

После дождя Стёпка босиком обежал все травяные кюветы, залитые светлой водой. Вечером от усталости он позабыл сказать об иконе и, не допив козьего молока, уснул на стуле, на котором, по словам матери, любил отдыхать отец.

..Утром к ним постучала Прасковья.

Стёпка проснулся, но притворился спящим.

– Не заперто, – сказала в сенях мать, пропуская вперёд старушку.

Прасковья была одета во всё чёрное. И лицо прискорбное. У порога она размашисто и низко поклонилась на передний угол, потом смиренно, будто нищенка, двумя мелкими шажками отошла от порога. Руки держала на животе.

– Бог послал нам дождичка. Посвежело, а то дышать нечем было, – заговорила Прасковья. – Вера, в ваших сенях полыньком пахнет. Значит, запаслась. Им гоже лечить живот. Мой-то вовсе распустился, прямо осрамилась вся. Пра.

– За твоим усадом и нарвала, – ответила мать. И не предложила ей табуретку.

– А мне подумалось, там одна полынь, – оправдалась Прасковья, покосившись на Стёпкины босые ноги, выглядывавшие из-под коротенького ватного одеяльца. – Вера, у меня беда-то какая. Вчера дала поддержать иконку твоему Стёпке, а он сбежал с нею. Не сказывал тебе? Чай, поставил в передний угол? Поглядела бы.

Стёпка бодро поднял голову от подушки, потом встал и сел на отцов стул. Хриплым от сна голосом сказал:

– Бабушка Прасковья, тебе, кажись, сон приснился? У Никаноровых вчера вот как балясничала: чьему-то мальчишке дала поддержать иконку, а он и сбеги с ней. Разрази гром, не помню, кому давала...

Настороженно выслушав Стёпку, Прасковья безнадежно хлопала руками по своим бокам, ища глазами поддержки у хозяйки:

– Матушка родная, Вера, он с этой поры – неугомонный говорун, а подрастёт – не даст слово сказать.

Вера привыкла к Стёпкиным шалостям и к жа-

лобщикам, поэтому, не зная точно, виноват он или нет, всегда защищала сынишку.

– Тётка Прасковья, мой сынок нашалить может, но чтоб чужое взять... На своём огороде не спросясь и огурчик не сорвёт, а не то что там...

На самом же деле Стёпка на днях съел все огуречные зародыши на грядках.

– Мам, я, кажись, видел её иконку, – сказал Стёпка, подойдя к ведру напиться воды.

Старушка приободрилась. Она склонилась перед Стёпкой и шёпотом спросила:

– Не бойся, скажи: у кого она? Скажешь, невиданный подарок подарю.

– Я её видел во сне! – как бы невзначай вырвалось у Стёпки. Он не соблазнился обещанным подарком.

Прасковья досадливо отпрянула от него и замала руками, точно отбивалась от мух.

И Стёпка рассказал сон: «Будто мы с шофёром на «ЗИС-5» везли в мешках рожь. Вдруг впереди по дороге закружилось облако пыли. Шофёр остановил машину, стали ждать, когда уляжется пыль. Неожиданно из облака вышла молодая тётя в белом платье, как мама, в руках у неё иконка, похожая на твою, баба Прасковья».

Старуха озабоченно пролепетала:

– Я её постом обновила...

«Тётя подошла к нам близко-близко, – продолжил Стёпка, перемигнувшись с матерью, – и спрашивает: «Куда везёте людей?» Шофёр от удивления вытянул губы дудочкой, глянул на меня и, заикаясь, ответил тёте: «Везём, красавица, семенное зерно. Повсюду выгорели хлеба, а у нас уродилась рожь. Смолотили и ссыпали её в мешки. Торопимся, как бы дождь не настиг в пути. И толстая мешковина не спасёт», – тётя улыбнулась ласково, как мама, и своё сказала: «Пове-зёшь семена другие. Их дольше ждут. Посмотри-ка в кузов». Вылезли из кабины и обомлели: в кузове стояли израненные и увечливые солдаты при орденах, медалях. «Вот это семена!» – со стоном сказал шофёр. От волнения он не мог сразу завести машину. Вскоре та самая тётушка исчезла. И пыль улеглась».

– Вера, сынок наслушался старших! Пра. Не верю я Стёпке. Показала бы его фелшару, – с колдовской укоризной засомневалась Прасковья. Склонив голову, она торопливо вышла, громко прихлопнув за собой сенную дверь.

– Стёпка, правда, что ли, чудный сон приснился? Не нахвастал? Тебя иногда не поймёшь: где правду говоришь, где выдумку. И всё равно я слушала и не дышала, – мирно сказала мать, приложив ладонь к его высоконькому лбу. Она не опасалась за Стёпку, за его мудрёные слова, поэтому и не было смысла показывать его фельдшеру.

– Мам, её иконка вон на комодке стоит, – признался Стёпка, поигрывая желваками и поскрипывая зубами.

– Перестань скрипеть. От кого научился, – урезонила мать. – Ох, придёт отец, всё-всё ему расскажу о тебе, – в какой уж раз пострадала она.

– Когда же папка придёт?

Вера содрогнулась и прижала к себе Стёпку, погладила его крупную голову и всплакнула со знакомым причитанием: «Миленький ты мой, полусиротиночка родной. В кого же выродился? – Она примолкла, потом строго сказала: – А иконку отнесу Праско-

вье сама».

– Мам, разве не знаешь, в кого уродился?

– Ох, с тобой не пропадёшь, – привычно заохала Вера.

Из колхозных амбаров семенное зерно в мешках вывозили на станцию на одной-единственной машине «ЗИС-5».

Стёпка задумал съездить на станцию. Подначки соседа не давали ему покоя. И в оборот зло взяло: не могло того быть, чтобы его папанька пришёл с фронта без ноги или без руки. Жалко было, не помнил отца в лицо. И он вызволил из общей рамки фотокарточку отца, где тот стоял у подводы с возом хвороста. Мать рассказывала Стёпке, что тем самым орешником отец наспех заплёл двор перед самой-самой войной. Фотокарточка была наклеена на твердую книжную обложку, поэтому Стёпка без боязни, что она помнется, сунул её под рубашку.

У правления колхоза Стёпка ждал машину «ЗИС-5», а подкатила тяжело нагруженная «полупортка». Машина была новая, от неё пахло заводской краской. Новая, значит, сильная, подумал он.

Пока шофёр оформлял бумаги у счетовода, Стёпка с подножки юркнул в кузов под мешковину, которой были накрыты мешки с семенами ржи. В самый последний момент Стёпка ушиб колено об окованный железом угол переднего борта. Задыхаясь от боли, он заплакал и закричал зубами.

Шофёр не задержался в конторе. Машина медленно покатила по пыльной дороге. За «полупорткой» гурьбой бежали мальчишки, безуспешно цепляясь за задний борт, но за селом шофёр прибавил скорость, и мальчишки отстали, грозя вслед кулаками.

Стёпка поднял над собой уголок мешковины, пахнущей керосином, и подставил лоб встречному ветру, который на его крупной голове растрепал давно не стриженные волосы. «Не ругай, мама. Для вас стараюсь», – шёпотом оправдал он свой побег. Он никогда так далеко не отъезжал от дома и всё равно не робел, будто привык к дальним поездкам. И онемевшие ноги не в счёт, лишь бы скорее доехать до станции. Мысленно попрощавшись с удаляющимся селом, Стёпка потрогал под рубашкой фотокарточку отца, тогда лишь облегчённо вздохнул и присмирел.

На полпути шофёр остановился у родника, к которому спустился почти бегом. Спешно набрав воды в помятое ведро, он также торопливыми шагами поднялся к машине. Радиатор заливал осторожно, боясь уронить мимо и каплю воды.

Внезапно налетевший порыв ветра вскинул мешковину, и шофёр заметил вихрастую Стёпкину голову. Он бесшумно подошёл, прикашлянул и поворошил Стёпкину копну.

– Ты чей, зайчонок белый? Строковский? Что же без спросу сел? И в кабине место есть. А вдруг я не вернусь нынче? Дома спохватятся о тебе. В мужиках нехватка, да ещё ты пропадёшь. Тогда за тебя мне намылят шею, – рассудил шофёр, не убирая руки со Стёпкиной головы.

– На подводах одну ходку за день делают до станции, а ты на машине еле-еле... – пробубнил Стёпка. И, спрыгнув на дорогу, кубарем скатился к роднику.

– Ах, сорванец! Его крести, а он кричит: пусти, – с испугом сказал шофёр. – Щенок лает – от больших слышит. Погляжу, погляжу, что ты тут делал, – добавил

он. И вслух пересчитал мешки.

– Дядя, скажи честно, не тронешь меня? – тонким, как у шофёра, голосом, словно передразнивал его, спросил Стёпка со дна травянистого кювета.

– Да нет, трогать тебя не за что, мешки целы. Пусть мать с отцом учат такого неслушника и сорванца. А мне есть кого учить, свои дети растут, только они посмирнее, – расщедрился на откровенность шофёр, чем и подкупил Стёпку, который захныкал и поведал ему о своей беде.

Шофёр был приезжий, год назад устроился в МТС, Стёпкиного отца не знал. Но, глянув на свои трофейные карманные часы, велел Стёпке скорее лезть в кабину.

В кабине Стёпка сразу освоился: потрогал рычаги, поёрзал на тугом сиденье, поднял и опустил боковое стекло... Потом притих и начал рассказывать о родном дяде Коле, старшем брате отца. Почти всю войну тот проработал бригадиром. Ни одна баба не обижалась на него, потому что трудодни записывал в тетрадь исправно. Но однажды ночью к его дому подъехал на лошади председатель колхоза и попросил припрятать в погребе десять мешков пшеницы, мол, честного человека не заподозрят, не станут искать. Дядя Коля отказался прятать пшеницу, а неделю спустя его призвали на войну. Служил в обозе. Письмо прислал из госпиталя.

Потом Стёпка рассказал о Прасковьиной иконке и о соседе Будилине, который своим молчанием может без пилы и топора повалить дерево и запросто высушить до самой смерти людей, особенно его, Стёпку... Будилин вернулся с войны без ноги и припадочный. Во время грозы прячется в подполе. У Будилина и пчёлы кусачие, на свой огород хоть не заходи. Пчёлы не соображают, что огороды разделены плетнёвой изгородью. И сам Будилин скупой, медком не угостит.

О Будилине Стёпка перегнул палку: тот с первой же качки разносил отведать свежего меду ближним и дальним соседям. Васюковым приносил в первую очередь.

... На станционных хлебных складах шофёр разгружал мешки, а Стёпка ждал его в кабине. Шофёр пообещал подъехать к чайной, в которой обедали возвращающиеся домой фронтовики.

Час спустя они подкатили к чайной в самое обеденное время. В душном и задымлённом зальчике все столы были заняты. Мало того, отобедавшие толпились у двери и договаривали начатые за столом разговоры.

Шофёр помог однорукому солдату прикурить окурочку самокрутки, потом они прошли поглубже в зальчик и остановились у окна. На подоконнике возвышалась жёлтая, сплетённая конусом корзина, с человеком в ней, у которого не было ни рук, ни ног. Впалая и узкая грудь инвалида была увешена семью боевыми орденами и семью медалями.

«Неужели и папка такой увечливый? Вот и стыдится показываться нам», – подумал Стёпка, не испугавшись прискорбного и безнадежного, отчаянного взгляда фронтовика.

У человека в корзине было опухшее лицо. Щёки чисто выбриты. Он окидывал людей надменным взглядом, словно превосходил их чем-то или тяготился тем, что на него не обращали внимания.

Пожилая женщина, ещё не утратившая красоты, с тонкой, как у девушки, талией, стала кормить супом человека в корзине. Понимая, что на них смотрят из зала, она незаметно для инвалида прикрывала собой корзину.

Обедавшие мужики и впрямь поглядывали на неё с нескрываемым восхищением. У одного и ложка застыла у открытого рта. А те, у которых после войны навсегда посуровели лица, смотрели на красивую женщину с благодарностью в глазах, что вот-де нашла в себе силы и не бросила инвалида, хотя никто из них толком не знал, кем он ей доводится.

Она разговаривала с ним, точно с капризным ребёнком, ласково, словно опасалась, что он вот-вот заревёт на всю переполненную людьми чайную или же накричит на незнакомых людей.

– Ешь, ешь, Вовочка. Нам с тобой далеко идти. Полевая дорога пыльная. Пыль горячая, как зола в топленной печи, пятки жжёт. И хоть бы где кустик или деревце... Я запаслась водой. Женщинам спасибо, достали из колодца холодненькой. Попьём, если что.

Обиженно отвернувшись к окну, Вовочка шёпотом умолял женщину не разговаривать с ним ласковым тоном, точно с котёнком или со щенком.

Женщина шёпотом попросила стоявшего рядом Стёпку поприсмотреть за подоконнике корзину с человеком, а сама с тревожными оглядками понесла пустую тарелку на кухню.

Стёпка смело пощупал пустые рукава гимнастерки и потрогал потускневшие медали на груди человека в корзине.

– Что, малец, не сыщешь моих рук? – спросил инвалид. – Обтесал меня немец, ни одного сучочка не оставил.

– Дядя, а ты приделай к спине гусиные крылья и летай на здоровье, – серьёзно посоветовал Стёпка.

– Вон какой! У меня этих крыльев перебывало побольше, чем у стайки стрекоз, – ответил инвалид, багровея от догадки: не подшутил ли над ним малец?

– Эх, а я с печки вниз летал миллион раз и не ушибался. Бабушка сказывала, все мои ушибы в старости отзовутся, – похвастался Стёпка.

Владелец корзины, изойдясь кашлем, позвал женщину, которая уже шла к нему с вытянутыми руками.

– Мама, вот, ёлочка, малец чудной. Надсмехается. Угони его, а то испугается меня, отвечай...

– Миленький Вовочка, учительнице нехорошо прогонять мальчика. Он сам поохотился помочь нам, а ты просишь прогнать, – успокаивала она сына.

Стёпка хотел показать Вовочке фотокарточку отца, но женщина собралась идти. Шофёр помог поднять корзину с Вовочкой ей на спину. Она покачнулась от тяжести.

– Спасибо, брат, – поблагодарил Вовочка, глядя из корзины широко открытыми и злыми глазами.

– Орёл, где тебя немец поймал на мушку? – спросил его шофёр.

– Сам разве не был там? – в свою очередь спросил Вовочка.

– Был, был. Пять годов отгрохал. Только я ползал по земле. Нам столько орденов не давали.

Стёпка семенил сзади, слушал их.

– Над Днепром сбили. Вот, ёлочка, мама еле разыскала, не слал ей писем, не расстраивалась бы... А малец, видать, без тебя избаловался, как взрослый

разговаривает, – ответил Вовочка и поторопил мать: – Пошли побыстрее, мам.

– Идём, идём, Вовочка. Не тужи, дойдём. У нашего двора выросла густая трава-мурава, належишься в тенёчке, – приговаривала она, на ходу поправляя тонкие верёвочные лямки, больно вдавившиеся в её плечи. Она часто подталкивала руками корзину снизу повыше себе на спину.

Пока шофёр брал обед, Стёпка обхаживал столы и показывал мужикам фотокарточку отца. Спрашивал: не встречали они его папку?

– Как величают твоего батьку? – спросил тот, которому полчаса назад шофёр прикуривал самокрутку.

– Мой родной папка – Васюков Григорий Лаврентьевич, – исподлобья глядя, ответил Стёпка.

– Мама твоя небось заждалась папку, – сказал безрукий, вызвав у мужиков улыбки.

Стёпка подумал, потом угрюмо и важно рассудил:

– Вас тоже дожидаются дома. Я видел бабьи слёзы, из-за пустяков плачут. Сидят, сидят, потом и заплачут... А вы расселись тут, как в поле на шкирдовке соломы. Я бы и обедать не стал, пополз поближе к дому.

Мужики хотели было посмеяться, но смиренно и устыженно прикусили языки.

Безрукий фронтовик упал на колени перед Стёпкой и троекратно, почти до боли, поцеловал его в запыленные щёки. И, роняя слёзы, проговорил:

– Мужики, ещё одна такая встреча – то у меня и рука вырастет...

– Это в тебе вино плачет, – сказала повариха, наблюдая за ними.

– Нет, окромя шуток, – оправдывался безрукий. – Парнишонка получше нашего смыслит обстановку в глубоком тылу. Мы здесь с утра до вечера гоняем чай и пиво, а ребятёнки ищут нас. Видали, мать на горбу понесла сыночка в корзине.

– Дядя, зря слёзы не лей, ещё пригодятся, – серьёзно посоветовал Стёпка, плотно сжав свои тонкие губы. Казалось, сам вот-вот заплачет. И порывисто отступил от безрукого, который опять назойливо потянулся целоваться.

Стёпка подошёл к парню, сидевшему за угловым столом с хмурой девушкой в военной форме, и подsunул ему фотокарточку. Лицо у парня сразу переменялось: было весёлое и красное, а стало хмурое, как у девушки, и бледное.

– Мальчуган, это же Николай Васюков! Я с ним недавно в госпитале валялся. – Парень примолк, оглянулся по сторонам и шёпотом сказал девушке: – Вряд ли доберётся до дому, больно плох. – И, вытаращив на Стёпку глаза, наклонился к нему, вполголоса спросил: – Ты с кем тут?

– Эх, маленько не отгадал. Папка похож на дядю Колю. Бабушка часто путала их, – сказал Стёпка, поняв, что наткнулся на человека, знавшего его дядю. Только обидно, что не расслышал шептания парня.

К ним подошёл шофёр.

Парень вдруг заотказывался от своих слов, будто бы он случайно признал на фотографии знакомого, мало того, ему, контуженному, вовсе не стоит верить.

– Эх, дядя – и врешь! Гляди, гляди, как глаза бегают. Ты испугался тётю. Я видел, она примигивала тебе, – не поверил Стёпка. Он отчаянно постучал кулачка-

ми по столу, отчего пивные кружки, плотно стоявшие друг с дружкой, зазвенели. – Юбочник ты! – выпалил он, оказавшись под защитой шофёра.

– Ух, соплячок ранний, посажу в мешок и унесу в дубраву, – встрепенулся парень схватить Стёпку за ухо, но шофёр увлёк мальчишку к столу со своим обедом. – Воспитал, братец, ежонка, сам наколешься, – мимоходом процедил парень, выходя из чайной с девушкой.

Стёпка надул губы, молча заплакал.

Если о Стёпкиных домашних шалостях узнавала вся улица села, то мать показывала ему на фотокарточку отца. Стёпка прислушивался к напоминанию матери и ненадолго затихал. Отцовский стул с высокой узорной спинкой всегда стоял у торца обеденного стола, и на него никто никогда не садился, кроме Стёпки, который представлял себя отцом и давал сестрёнкам наказания, что делать по дому.

Осенью, когда накапывали полный погреб созревшего картофеля, вволю нажимали на варёный картофель и на картофельные лепёшки, поджаренные на постном масле. Мать ставила на стол перед стулом мужа небольшое глиняное блюдо с тремя варёными картошками, одну ложку со щепотью соли и лепёшку...

Когда дети опорожняли общее блюдо, мать разрешала брать остывшую картошку из блюда отца. Однако Стёпка не брал «отцову» картошку, чем смущал и изумлял сестрёнок.

Стёпкин отец вернулся домой глубокой осенью. В тот памятный день выпал первый снег.

На устах матери и детей Григорий был каждый день, поэтому встретили его сдержанно, точно он и не уезжал на долгие годы.

Из госпиталя Григорий принёс недобрую весть: месяц назад встретил там брата Николая, за которым ухаживал как за самым безнадёжным. Вскоре и похоронил его на городском кладбище рядом с другими умершими в госпитале воинами.

И самого-то в госпитале подлатали кое-как, «сшили белыми нитками», говаривал он о себе.

Дома не жаловался жене, но Вера сама видела и чувствовала в нём перемену.

«Чихай не чихай, а раз ноги ходят, надо жить попроворнее. Может, за зиму встряхнётся? Куплю корову или стельную тёлку, тогда жена и сродственники перестанут жалеть меня, точно малого ребёнка», – прикидывал Григорий, прискорбно посмеиваясь над своими задумками.

То, что они накопили до войны, Вера сумела кое-как сберечь. Были живы старенькая коза и две овцы. Уцелели два пчелиных улья без пчёл, которые им положили когда-то на поклон. На нашесте Григорий насчитал десятка полтора кур с петухом. В конюшне хозяйничали гусыня с гусаком. В погребке два сусека доверху засыпаны крупной картошкой; в двух кадучках – солёные огурцы и квашеная капуста, а в ведёрной кадучонке – солёные грибы. В сенях на берёзовых шестах была развешена кустиками калина. На горячих кирпичках печи толстым слоем сушились, покрытые ватолой, подсолнечные семечки.

На стене дома за печкой Григорий обнаружил мешочки с сухими белыми грибами и опятами, также со зверобоем и душицей.

– Запас кротовый, а с ним до поста продержимся,

– сказал Григорий Вере. От мужниной похвалы у неё раскраснелись щёки и заблестели глаза.

...Он без раскочки втянулся в домашние заботы. Картофельной ботвой закрыл прорехи и дыры на крыше хлева. В дом натаскал мёрзлых комьев глины и вязанку свежей соломы. На другой день комья оттаяли. В деревянном корыте, которое сам выдолбил ещё в парнях, он намешал раствор и замазал им пазы в задней избе. В доме долго держался запах мокрой глины. Как только пазы поседели, Григорий побелил их. Ещё неизвестно, какой будет зима? С тёплой избой и о дровах не тужи, думал он.

Григорий изредка похаживал на колхозный конный двор, ладил там сбрую. Однажды попробовал конюшить, после чего, схватившись за живот, в сбруйной избе со стоном свалился на лежанку. До вечера пролежал, но встать не сумел.

Мужики отвезли его на телеге домой. Вера помогла мужу залезть на печку. На горячих кирпичках, побоявшись напугать своей хворью детей, Григорий вполголоса запел песню, а петь любил и умел: «Уж ты сад, ты мой сад, сад зелёный, ты зачем, садок, отцвёл, осыпашься?». Когда он запевал слово «осыпашься», Вера послала Стёпку за соседом Будилиным. А Григорий, скаля от боли зубы, напевал: «Тут летела пава через синие моря, уронила пава с крыла пёрышко...».

– Гриша, не уронила я пёрышко, – отозвалась Вера. Она встала на приступок, поймала своим ртом мужнин открытый рот и поцелуями на время заглушила его стоны.

...Будилин, не жалея единственную ногу, вприпрыжку ковылял к Григорию. За ним Стёпка – тоже вприпрыжку.

– Стёпка, вот нажалуюсь отцу, – пострадал Будилин, у которого от неровной ходьбы вспотело лицо. – Надразнишься на свою шею, сам захромаешь.

– Жалобой папку расстроим.

– Ему на ушко скажу.

– Тогда всех твоих пчёл выпущу.

– Выпустишь, а чем будем лечить отца?

– Ох, верно, – согласился Стёпка. – Пошутит, а ты подумал... Папке не до меня, – горестно вздохнул он. Машинально открыл дверь и пропустил соседа.

Войдя в избу, Будилин тонким голосом спросил:

– Как дела, вояки?

– Дела в халате, с печи да на полаты, – ответил Григорий.

Будилин развернул тряпицу, извлёк две лепёшки из воска и попросил Веру нагреть их на сковородке.

Пока восковые лепёшки нагревались, Будилин осмотрел Григория. Подумал и сказал:

– Поясницу-то твою погрею, первый раз что ли. Но тебе, Гриша, лучше съездить в Тагай. Говорят, там объявился толковый врач, на фронте был.

– С ума-то не сходи! Хирурги недавно кромсали меня. Им поддайся, с прибаутками режут, – вспылит Григорий. – И не выдержи операцию, ослаб, – добавил он, вскользь посмотрев на жену.

– Гриша, у тебя обыкновенная язва. Она и намяла: лицо потемнело, глаза ввалились, – не утаил правды Будилин. Но почувствовал, что перелишил. – Хотя это дело не самое худшее.

– Будилин, не пугай, пожалуйста. Вид у Гриши усталый. С войны пришёл, а не с мельницы, – с оби-

дой сказала Вера. И опустила голову.

– Верю, верю, Вера, поставишь Гришу на ноги! А моя Катюша иногда так заправски заропщет, хоть убегай: оставил-де её в гнилом доме, всю войну мёрз-ли, и крыша протекла, пусть и считается – тёсом покрытая. Легко рассуждает, будто слова из печурок берёт. С жиру бесится: пусть хромый, а мужичок! Война у меня ногу взяла, руку покорёжила, братовъёв отняла, а баба, видишь ли, обиду спускает, точно санки под гору, что в гнилушках оставил семью, – притопывая деревянной ногой, возмущался Будилин. От волнения он слегка заикался, чего не было с ним до войны.

Потом он сосредоточился и наказал Вере сходить к ним за «чекушкой» с лекарством. Вера бесшумно вышла. С ней и Стёпка ушёл.

– Есть у меня одна пчелиная штукавина на спирту. С неделю полечишься, там поглядим, – успокаивал Будилин присмирившего друга.

– Давай. Так изболелся, готов не знай что съесть и выпить, – поторапливал Григорий. – Полно делов накопилось повсюду! Наши домишки похуже первобытных. Глазами-то всё бы переделал, а руки слабы. Видать, вся тяжесть ляжет на Стёпкины плечи. Поэтому и не одёргиваю его, если шутит над кем. Да и лютует от радости, что дождался меня. Годочка два-три порезвится, потом некогда будет.

– Он и без тебя шустрил, – напомнил Будилин. – Видать, таким народился. Наше дело терпеть.

– Не держи на него обиду, – упрашивал Григорий. – Да и почитает он тебя. То и дело повторяет: вот Будилин сделал то-то, вот Будилин сказал так-то... Ты хоть и безногий, а живёшь полной жизнью, вот он и подучается у тебя. А с меня пока никакого спроса.

– Сам-то больно не отчаивайся: не сержусь на Стёпку. Думаешь, не понимаю его юморок? А поймут ли твердолобые? Ведь могут намылить шею.

– Ничего, погнутый грош в последнюю очередь выпадает из дырявого кармана. Я до Германии дошёл. Так что детей не замарал, за отца краснеть не станут. Жалко вот, внутренность в гроб валит, – словно напоследок пооткровенничал Григорий.

– Ох, Гриша, дожить бы нам до весны! Пчелки выручат, – помечтал Будилин. И спросил: – Нынче обещал?

Григорий через силу посмеялся над его вопросом.

...Как-то Будилин допоздна просумерничал у Васюковых.

Стёпка безбоязненно подшучивал над слегка охмелевшим соседом.

– Будилин, будь добрый, скажи: когда стлижешь ногти, куда бросишь их?

– В голландку, на красный огонь, – ответил Будилин, гадая: мальчишка пошутил или всерьёз спросил? Хотя и по произношению звука «р» было понятно, что Стёпка подшучивал.

– Зля. Свои ногти кидай под свою лубашку. Они собелутся в пупочке.

– Зачем? У меня на груди серебряный крестик, – недоумевал сосед.

– Зачем, зачем, – кипятился Стёпка. – Когда помлешь, твои ногти выластут подлиннее собачьих когтей.

– Куда мне такие?

– С собачьими легче вылезать налужу по отвес-

ной могильной стене.

– А что мне тут мёртвому делать? Жена выйдет за муж, дети забудут отца.

– Влачом будешь лаботать, – уточнил Стёпка.

Все рассмеялись, кроме самого насмешника, который важно ходил по избе, заложив руки за пояс, словно обдумывал новую шутку.

Предноярбская оттепель растопила первый снег, размягчила мёрзлые кочки и раскиселила дороги. По утрам из леса набегали непроглядные туманы. Потом почти в безветренную погоду наплыли низкие плоские тучи, с которых сначала упал тонкоструйный редкий дождь, а позже посорила морось.

Григорий осматривал свой ветхий дом, покашливал и от беспомощности поскрипывал зубами. Даже под тесовой кровлей было сыро и волгло. Поленья отяжелели вдвое. На днях ещё одна забота прибавилась: его назначили заведующим зернотоком. Там, на сушилке, сутками топили дровами печи, просушивали влажное зерно.

Вере передали, что в рабочем поселке её бабушка стала плохая, не узнавала ни родную дочь, ни внуков, которых вынянчила.

В весенние каникулы Вера со Стёпкой лесом ушли в посёлок. Там и заночевали.

Воспользовавшись отсутствием жены и Стёпки, Григорий во дворе спешно взялся ошкуривать залежавшиеся с довоенной поры дубовые брёвна. Утром опять услышал тупую боль под правой лопаткой. Неужто хирург проглядел осколок, подумалось ему. До прихода жены и сынка успеть бы очистить брёвна от начавшего подгнивать корья. Бурая волокнистая прослойка между корьем и древесиной забивала лезвие топора и мешала работе. От влажного корья исходил кисловато-терпкий запах разложения и гнили. Из многочисленных норок древесины выползали ошавшие от света и притока свежего воздуха короеды и прочие жучки-паучки.

Григорий успел-таки до прихода жены и Стёпки ошкурить брёвна и прибрать мусор во дворе. В тот же день, похлебав похлёбки, он с помощью старшей дочери заполз на печь.

Будилин притопал без приглашения, так как неизлечимые хвори друга держали его начеку. Он принёс решето с зудящими пчёлами и книгу, укутанную выцветшим женским платком.

Девчонки боязливо спрятались в передней комнате, а Стёпка смело заглянул в решето.

– Стёпка, не толщись под ногами, помог бы, – проворчал сосед нарочно, чтоб смягчить горестный взгляд Веры.

Он поднялся на приступок и велел хозяину приготовиться к лечению. Сам освободил книгу, похожую на церковную, от платка, и, словно боясь раскрошить ломкие и коричневые от времени листочки, осторожно раскрыл её на нужной ему странице. Вполголоса вычитал текст, потом, с оглядками на книгу, начал сажать пчёлку на поясницу и на тощие ноги Григория.

– Отдохнул бы малость. Война, гляди-ка, всего тебя исказила. За тобой и пчёлки не угонятся, – прошептал сосед.

Когда он рассуждал о пчёлах, на его лице появлялось умиленно-благодарное выражение, точно у ребёнка, которому показывают новую игрушку, но ещё не дают в руки. К его детской благодущности и

доверчивости привыкли все Васюковы, кроме Стёпки.

– Или не веришь своим благородным мухам, если отдохнуть советуешь, – глуховатым голосом сказал Григорий. И сквозь зубы процедил: «Уж ты сад, ты мой сад...»

– Попробуй полечиться ещё вот так: первый гром прогремит – кубарем покатайся по полу избы, да чтоб никто не видал. Или на луковичных грядках, в июле, по пёрышкам, и как рукой снимет хворь. Поверь моему слову.

– Я верю не только твоему слову, но и делам, – улыбочиво отозвался Григорий, думая не о своих страданиях, а о Вериных.

Будилин посерьёзней и сосредоточился от похвалы. Пообещал испытать ещё одно средство, только бы дождаться лета, когда травы зацветут и заработают пчёлы. Полечит Григория маточным молочком и пылью.

– Ну, дорогой, скажешь тоже. По-кошачьи жить некогда. Чай, самому видно, как хозяйство подгнило и осело. В колхозе-то еле-еле восстановил с десяток хомутов и седёлок. Ремённые вожжи только у председателя. В Вязовку посылают за верёвками, – пожаловался Григорий. Он прислушивался к шагам жены, затихающим у печки.

– Хотя и унываешь, Гриша, но ты – молодец! Вон сколько наследников! Один Стёпка сто сот стоит, – настраивал Будилин друга на спокойный лад. – Хозяйка на глазах полнеет. Может, Емелюшку народит? Тогда и бочонком мёда не поскупишься, в крёстные напрошусь, – с лукавым намёком досказал он.

«Сосед необычно разговорчив. И без него знаю, что Вера беременна. Потому и бьюсь с хворями, чтоб отступили. Вот и он подбадривает», – решил про себя Григорий.

Когда Будилин приходил лечить Григория, Вера просила Стёпку выйти поиграть с товарищами. Стёпка, глядя матери в глаза, умолял не выпроваживать его на улицу. Ему хотелось встать на приступок рядом с Будилиным и наблюдать, как тот лечит отца пчёлами.

...Дети замечали, что при них отец не снимал с себя белую нательную рубашку. Он и в бане мылся один.

Стёпка каждую субботу напрашивался с ним в баню, говоря, что веником похлещет его не хуже мамки. Григорий отказывал ему шутками, но однажды получилось серьёзно и просто: «В укор нам обоим – банёшка тесная и неудобная, в землю вросшая, не уместит нас. Вот построим новую, в которой можно будет встать и лечь во весь рост, тогда вместе и попаримся».

Доводы отца убедили Стёпку: он задумался.

Однако старшая сестра Светлана открыла ему разом другой секрет: «Папка изранен с ног до головы, живого места не найти, где бы осколки не оставили следа, а ты пристал к нему чередой, не даёшь покоя. Вдруг мы испугаемся ран и перестанем слушаться папку? Он говорил мамке: вот на постной похлёбке нагуляю жиру, заплывут шрамы, тогда и рубаху сниму. И Стёпку возьму в баню».

За неделю до Петрова дня Григорий надумал съездить с косой на лесные поляны Берёзовского поля. Лошадь Точку он привёл домой с вечера, она во дворе и ночевала.

От обеих зорь ночь была светлая, поэтому Григорий встал далеко до рассвета. Проулком пошёл за водой. Навстречу ему, приподняв подол нарядного сарафана повыше колен, чтоб уберечь его от густой росы, с гулянки бежала соседская дочка Надя. Поравнявшись с Григорием, она со стеснительной улыбкой сказала:

– Дядя Гриша, не стойте, не боюсь порожних вёдер. Всё-таки со свиданки лечу. В молодости и вы с тетёй Верой целовались до утра. Говорят, и сейчас целуетесь. Мне б такую любовь.

Григорий не успел ответить, Надя скрылась в своём дворе.

«Мы-то лишь целовались, а ты?.. И с чего она взяла, что осуждаю её за позднее возвращение? Чай, по глазам заметила, – недоумевал он, жалея, что повстречался с девкой. – Эх, а Надежда наверняка на два-три года постарше нашей Светланы? Значит, и у нас в доме невеста! Надёжку вон посватал фронтовик, соседи готовятся к свадьбе. Дай Бог им счастья! Только чудно, что сама бегаёт к жениху, а не он к ней. Война, видать, мало того, что миллионы людей погубила, заодно солдатских детей сбита с пути, которые все наши обычаи и привычки перепутали. Не представляю, как без отцов проживут?» – с горечью подумал он, застоявшись на полпути к роднику, точно позабыл, что шёл по воду.

Когда Григорий поил лошадь, то рукой придерживался о веранду. Он удивился: несмотря на росную и прохладную ночь, серебристые осиновые доски были ещё тёплые.

Стёпка проснулся сам. Заспанный, тыкаясь о стену, добрался до ведра на крыльце. Почерпнул ковшом воды и вылил её на свою вихрастую копну. Студёная вода перехватила ему дыхание, еле отдышался.

– Кто тебя этому научил? Спросонья никогда не окачивая себя ледяной водой, иначе на легкие упадёт иней, – строго предупредил Григорий.

– Папк, зато сон бабочкой слетел, – продолжая пыхтеть, оправдался Стёпка.

Накануне он со слезами просился на покос, чем огорчил отца, но сейчас Стёпка своей выдумкой вздумал обрадовать его.

Мать, позвавшая обоих выпить в дорогу по стакану простокваши, продолжала отговаривать мужа – не ездил бы он на далёкое Берёзовское поле. Он же успокаивал её, мол, никто толком не знает – сколько вёрст до лесного поля: то ли пять, то ли семь... ведь извилистую лесную дорогу тележным колесом точно не измеришь.

Они на ноги накиннули лёгкие, плетённые из лыка, ступни. Со двора выехали в проулок, заросший глухой крапивой и лопухом. У обоих до колен от росы намокли штаны. Штанины отяжелели. От росы заблестели и копыта лошади.

Вера помахала им.

– Стёпк, ослабь вожжи и в ответ помаши мамке, – одёрнул его Григорий.

«Что с Верой? Чай, не на фронт двинулись», – запало ему.

Лес встретил их прохладой. Мелкий липняк, отяжелевший от росы, замочил бока лошади, сбрую и колёса фуры. Стёпка загадочно молчал. Он так обрадовался этой поездке, что болтовнёй боялся вспугнуть радость, хотя в голове роились сотни вопросов.

Да и мамка наказала не донимать разговорами отца, который-де после войны первый раз вырвался на лесной покос.

– Папк, кто Точке на левом бедре оставил шрамы? – надоело Стёпке молчать.

– А-а, – промычал Григорий. – Точка, знаешь, твоя ровесница. В один день родились. На фронте думал, что не застану её. Оказалось, Точку не взяли на войну, метка помешала.

– Папк, как о нас думал?

– Вы все снились мне. Бредил вами.

– Мамка на днях сказала, ты не жалеешь себя.

– Ох, Степан, всё время с народом живу, на фронте батальоном командовал, потому во мне эгоизм и не уживается.

– Это что такое?

– Эгоизм-то? Хворь такая. Липнет к тем, кто себя любит.

– Ну, беда какая. Девчонки, что ли, которые часами перед зеркалом крутятся?

Григорий тихо посмеялся.

– А ты тоже самолюб. Вчера слёзы лил, как грудной ребёнок.

– Нетушки, папка, – досадливо и зло выпалил он, дернув вожжи, отчего лошадь рывком прибавила шаг.

– Больше не буду умолять слезами. Каюсь. А зачем дедушка Дмитрий учил, чтоб я ничего не боялся и действовал напропалую?.. Я и его спрашивал о Точке. Он сказал, вот папка вернётся, у него и спросишь.

«Да, дед наш рисковал: сам помер, не сказав внуку о Точке, а я ведь мог и не вернуться. Ох, Степан, с ума сведёт скоро», – подумал Григорий, любовно поглядывая на сына.

– Мы, мужики, ушами прохлопали и проглядели Точку, – вспомнил Григорий. – Скирдовали в знойный день. Кто-то накидал соломы в фуру, чтобы под ней в обеденный час спрятаться от палящего солнца, и под соломой остались вилы зубьями наружу. Точка была ещё жеребёнком, легла вблизи фуры, в тенёчке. Она сладко подрёмывала, я видел. Потом из села прибежали ребятишки с собакой, которые и вспугнули жеребёнка. Когда Точка торопко вскакивала на ноги, её покачнуло к фуру, вот зубья вил и оставили след на бедре. Еле спасли. Рана долго гноилась. А Точка, считай, хороших кровей. Славиться бы ей на ипподромах, да не судьба...

– Точка и без кчалки хороша!

– Ты прав, Степан, но с инструментом поосторожней. Видишь, как косу везём? Всегда её снимаю с черенка, острой частью прижимаю к дереву и окутываю толстой тканью, вроде Будилин книгу. А куда торопиться? От жизни не убежишь, а попытаешься – так она за полу рубашки или за волосы уцепится и оставит.

Григорий на лесном перекрёстке взял у него вожжи и перевёл лошадь на самую тенистую дорогу.

– Папк, в прошлом году, в августе, наблюдал за муками Будилина: он от своих подсолнухов с руганью отгонял надоедливых грачей. У подсолнухов головы с решето, а стволы с оглоблю. Только за стадом уляжется пыль, тут же грачи садятся на подсолнухи. Они «завтракали» до десяти утра, после куда-то улетали. Пожалел я Будилина ну и напросился к нему охранником. Он сначала не поверил мне, думал, в насмешку сказал. Я поговорил с ребятишками, пообещал им, что

дядя даст нам по стаканчику медку. Они согласились. Мы притаились почти под каждым подсолнухом. Ни один грач не посмел своровать семечко. Одно утро сидим с рогатками, второе... Будилину бы радоваться, а он вместо доверия – давай нас считать. Видать, прикинул, что за нашу работу надо полно медку, ну и расторгнул наш уговор. Напоследок сказал ему: угостил бы медком за те два дня, что караулили. Нет, поспешил. Всё равно грачи поклевали подсолнухи.

– Сноровистый ты, а по-соседски-то лучше бы помочь бескорыстно. Тебя смутила его житейская хватка, позавидовал, – упрекнул Стёпку Григорий. Вскользь добавил: – А если б отец обезножил?

– Папк, не пойму людей, – нахмурившись, потужил Стёпка. – Тётке Алёне Забегалиной при мужиках сказал, как обманули её кирпичами: ей надо их на печь, а привезли только на голландку. Вместо похвалы Тётка Алёна начала пугать меня, что такие умники, как я, долго не живут на свете. А один из мужиков спросил: откуда такой проворный выискался? Пострашал намылить мне шею.

Григорий закашлял, потом посмеялся над сыновней рассудочностью. Обнял Стёпку, туго прижал к себе.

– Сырость пошла, к болоту подъезжаем, вот и запершило в горле, – оправдывался Григорий со слезами на глазах. – Да, Степан, твои козыри крыть нечем.

По вершинам деревьев заскользили первые солнечные лучи. В лесу посветлело.

Стёпка спрыгнул с фуры и, глядя под придорожные кусты молодого орешника, зашагал сзади. Стали попадаться созревшие ягодки земляники. Он увлёкся ягодой и отстал от подводы. Глянул – отец скрылся за поворотом – и помчался вдогонку, на ходу покидывая ягоды в рот, точно семечки.

«При отце я не посмел бы без спросу спрыгнуть с фуры, да ещё ни слова не говоря, запросто отстать, – удивляла Григория смелая раскованность сына. – Он хоть и тянется ко мне, но теперь вряд ли что добавлю ему. У него без меня свой характер выковался».

Григорий вспомнил себя точно в такой же поре, в какой сейчас был Стёпка. Как-то с отцом пошли в баню, разделись, в корыто налили щелоку, тут и спохватились, что дома оставили мочалку и мыло. Баня стояла на середине усада. Картофельная ботва вымахала по пояс Гришке. Он голышом побежал домой за мочалкой. Во дворе попутно подразнил двухпудового поросёнка Борьку: дёргал за хвост и за уши, точно щенка. Боровку сначала нравилась игра, даже на бочок завалился и глаз прикрыл, но вдруг рывком кинулся на опешившего Гришку, стараясь покусать его. Гришка поднял крик, отчего боровок ещё злее стал кидаться на него. Отбившись от поросёнка ногами, мальчик с криком побежал по усадной тропе к бане. И боровок Борька следом... В предбаннике Гришка успел зацепиться за жердочку, на которой сушились берёзовые веники, и повиснуть на ней, как на школьном турнике. Отец выскочил из бани, точно кипятком ошпаренный.

В тот же вечер отец прирезал боровка, что не входило в планы семьи, так как рассчитывали покормить поросёнка до первых морозов, чтоб прибавил вес. Спустя неделю шорничая в сенах, отец супонью огрел Гришку по спине. Гришка лишь охнул от боли, но не заплакал.



«Как ни строг был батя ко мне, а вот не обижался на него, даже скоро забывал его ремни. Теперь и по-давно не держу обиду. Сейчас минутку бы посидеть с ним рядом, поговорить и вспомнить былое... Он наверняка подружился бы с озорным внуком Стёпкой», – раздумывал Григорий.

Верхние листья травы подсыхали на глазах, роса испарялась. Она дольше держалась лишь у самой земли и в густой тени липняка.

Самый бы раз косить, но Григорий не торопил лошадей. Он из бересты делал тески для ягод. Пока добирались до заветных травяных полян, смастерил два теска. И всё равно пожалел, что не взяли с собой домашнюю посудину.

– Вот и Берёзовское поле! – вполголоса воскликнул Григорий, довольный, что благополучно доехали. На его искусанных губах надолго задержалась усталая улыбка: – Здесь есть поляны с ягодой: пройдёшь – и сапоги красны! Они прячутся в траве от солнышка, как бы оно не запекло их пупырчатые головки. Будешь в тески собирать, гляди, сынок, под ноги зорко, а то разлепешешь ягоду или змею вспугнёшь с тёплой лежанки. Дальше вон той поляны не суйся, а то с этой точки не увижу тебя.

Григорий ногой ворошил траву, потом руками разваливал её до самых корней, как на овце шерсть перед стрижкой, показывал Стёпке большеголовую землянику, похожую на садовую. От созревшей ягоды и трава казалась красно-зелёной.

– Эх, не косьба, так ведра два набрали бы ягод. Живы будем, завтра приедем сюда, – вслух помечтал Григорий.

Поохав и потужив, что не до ягод, он стал насаживать косу. Тут же поминутно сбивал фуражкой слепней с брюха лошади.

– Папк, накашивай, а я буду за лошадьню глядеть. Дело-то быстрее пойдёт, – сказал Стёпка, увиливая от сбора ягод.

– А кто ягодой наполнит тески? Через неделю, а то и раньше она почернеет и утратит сладость. Это не картошка, мешкать некогда. Сам-то нахватался, а сестрёнкам гостинец? – приструнил его отец.

– Папк, девчоночье это дело, – недовольно буркнул Стёпка.

Григорий попробовал косу прямо на травной дорожке: мокрая и сочно-зелёная трава глушила металлический звон.

Свет берёз слепил глаза. Утренняя жара досушила последние капли росы.

Стёпка собирал ягоды в тени. Куда от деревьев тень, туда и он. Мать наказывала – не лезть на середину поляны, где по утрам греются змеи. В тени же донимали комары и слепни, поэтому Стёпка часто оказывался в центре поляны, где солнце жгло спину сквозь полотняную ткань рубашки.

В высокой траве ягоды были перезревшие. Они мялись в пальцах, если между ними попадался листок травы. Первый тесок Стёпка заполнил быстро, правда, к нему дважды подходил отец с тревожными взглядами по сторонам, опускался на колени и помогал сыну.

– Папк, на которых жуки и пауки сидят, точат их, те не срываю, – выпалил он, возбуждённый победой.

– Вот-вот, что я и говорил. На зелёную ещё ягоду жучок не сядет, – приглушённым голосом напомнил

Григорий и скупно похвалил его. И наказал разговаривать тихо, почти шёпотом. Он с липки снял лыко узкой лентой, потом полный ягодой тесок привязал к толстой липе, стоявшей поодаль от заросшей дороги, а ягоды прикрыл двумя-тремя листочками.

У отца гимнастёрка на груди и на спине почернела от пота, а волосы выбились из-под фуражки и слиплись по всему бледному лбу.

Он подал сынишке второй тесок и тем же слабым голосом подбодрил:

– Торопись, торопись... Бороду и губы утри, в ягодном соке они.

Григорий косил на побегушках. Прокос сделает и бежит к лошади, которая из-за атаки слепней рвалась с привязи, поразгонит с неё тучи слепней и снова урывками косит. Не успевал со лба смахнуть пот, соливший до рези глаза.

Он пожалел лошадей: надумал искупать Точку. Прямо с передком фуры повёл её к приболотному озерку, в котором когда-то ловил карасей.

Озерко за время войны, когда лесные покосы замерли и затихли, наполовину заросло камышом. Берега заболотились, близко к воде лошадей не подвести.

Григорий наломал веток молодой липы, собрал их в два веника, и, окунув в зелёной воде, побежал к лошади, покорно ожидавшей его. Из ведра бы облить, бедную, чтобы она не отбивалась ногами от слепней...

Он стал замечать, что его фронтальная настроенность постепенно утрачивала силу, словно дома в ней не было необходимости.

Когда Григорий опять пошёл к воде, за спиной услышал вкрадчивый мужской голос:

– Как собственную купаешь. Жалеешь.

Григорий обернулся: мужчина в его годах цепко держал Точку под уздцы, точно задумал увести её по своей надобности. Правая пола его поношенного суконного пиджака выпукло горбилась, видимо, хозяин что-то прятал под ней.

Васюков мимолетно представил себя точно в таком же одеянии, когда на фронте по заданию уходил к немцам в тыл.

«Вот, чёрт, с неба свалился, – удивился он незнакомцу. – Опытного армейского разведчика обманул, бесшумно подкрался к лошади. Обманул ли? Всё время чувствовал близости, прямо за кустами, какое-то брожение. А может, и слышал, да не обратил внимания. Как бы Стёпка не прибежал сюда, а то вздумает заступаться за меня», – чужое недоброе, поостерегся он.

– Как детка в мамкину грудь вцепился. Не бойся, лошадей не убежит, – напряжённо улыбаясь, сказал Григорий. Он осторожно подходил к мужчине, лицо которого было очень знакомо.

– Слушай, милый, удружи на минутку лошадей. На днях кто-то свалил дуб, а не берут. Думал, ты за ним приехал. Видать, на столбы к воротам уложили столетнего бугая. Надо бы его выволочь из чащи к дороге. До вечера оголеть, а ночью вывезти к дому.

– Пушка-то для какого хрена? – спросил Григорий, заметив у мужика под полой пиджака автомат ППШ.

– Не сверли, не сверли своими стеклянными глазами. Не пугай, сам бойся, – дерзко указал мужчина, хотя минутой назад дружески просил Григория дать

ему лошадь. Не слышал обо мне? – с честолюбивой усмешкой спросил он, откинув полу пиджака.

– Газеты не читаю, а по радио не сообщали о тебе, – отвлечённо произнёс Григорий, точно этой встрече не придавал значения. Хотя подумалось, что незнакомец заметил в нём лёгкий испуг. Но испуга он не чувствовал, было лишь обыкновенное волнение при виде привычного оружия, от которого ещё не отвык.

– Ну, такими козявками, как я, газеты не пачкают. Воробей доволен застрехой, а я лесной чащей, – с лёгким бичеванием говорил о себе незнакомец. – Недавно приходилось видеть тебя в МТС при всём параде. Значит, офицерский состав. На твоей груди насчитал семь орденов и четыре медали. Немцу спуску не давал... Ничего, будет век помнить, так сказать, на кого рукава засучивал, – расчётливо льстил он. Немного помолчав, словно взвесив про себя мысль, досказал: – Спасибо, что и за меня саблей помахал. Тоже пришлось пороху понюхать, особенно в первые месяцы войны, но скажу без утайки: нашего брата больше ласкали пешим ходом и голодухой, чем орденами и медалями. Растерянность была страшная, до нынешнего дня никак в себя не приду.

– Ах, так ты – Яшка Сорокин! – с тяжёлым вздохом вымолвил Григорий, но не от удивления, что вспомнил его имя и фамилию, а от странного удущья в груди, чего не было с ним раньше. – Из-за тебя, что ли, местные бабы боятся в лес ходить? У многих рассохлись кадушки, без грибов и без ягод сидят. И это в голодный-то год! Разве сюда пойдёшь, когда тут кудеяры бродят! С этой пушкой самый раз на святки молодёжь в хоровод загонять. Ты побереги игрушку-то до зимы, – и серьёзно, и насмешливо проговорил Григорий, показав на автомат. – А помнишь, однажды затеяли драчку на кулаках? Село на село шли. Что-то ты тогда не попался на глаза. Или дубки валил?

– Ага, ты и сейчас лоб в лоб идёшь, – с простоватой усмешкой ответил Сорокин. – Зря, фронтовик, дёргаешь себе нервы. Своего парнишку поучай, что ягодки собирает. И в селе помалкивай, что в лесу с Сорокиным встречался. А то наплели обо мне – семь вёрст до небес, из лесу не выйти. Сейчас время тяжкое, народ и государство зализывают раны, властям не до меня. Впоследствии время сотрёт с людской памяти все мои шалости. Не бывал ли на берегу моря? То-то. Как волна заглаживает песок, так и время заравнивает наши ошибки. Давай-ка вместе вытащим чудище природы на дорогу. Дуб рядышком. А то одному на передок за комель его не поднять.

– Слушай, Сорокин, брось игрушку.

Не могу смотреть на эту вещь, тошнит. Из возраста вышел, не до озорства, – упрашивал Григорий, подойдя к нему поближе. Однако ему показалось, что Сорокин побаивался подпускать его к себе.

– Давай-ка, милый, без натяжки. Иначе пожалуюсь леснику, как на угодьях лесничества сбрываешь сочную травку, – предупредил он Григория, заодно подмигнув ему, точно мальчишке.

– И дуб хочешь свалить на мою шею? Ловчишь, – самоуверенно ответил Григорий. И он подумал о своей Вере, которая, если бы знала вот об этой неожиданной встрече, ни за что не пустила бы его на лесной покос. Всякий раз, когда ему было трудно, он вспоминал Веру.

– Не обижайся, фронтовик. Где что плохо лежит,

там у меня и брюхо болит, – спокойно сказал Сорокин и пальцем постучал по автомату.

– Ну-ну... – задумчиво промышчал Григорий. «С немцем попроще было, а тут вот с земляком разговор на полуслове заклинил. Неужто напугался?» – подумал он, не зная, что делать: вывезти дуб подальше от греха или погодить...

Он слышал, будто от имени лесничества Сорокин у слабых мужиков, стариков и подростков отнимал сено и дрова, потом отнятое обменивал в соседних сёлах на самогон. Но пострадавшие никогда не намекали, что видели Сорокина с оружием.

– Показывай, хозяин, дуб. Торчать некогда, – утрюмо поторопил его Григорий, подойдя к лошади с левой стороны.

Сорокин же, не убирая руки с утоньшившихся от времени мундштуков уздечки, упрямо стоял по правую сторону лошади.

– Убрал бы пушку. На войне-то надоела до тошноты, ещё и дома мельтешит перед глазами. Для попугу носишь? Наверное, диск пустой, – настаивал Григорий. Он всё время думал о Стёпке, боясь за него, как бы он не спохватился о нём: накричится и наплачется, потом убежит домой и напугает мать...

– Кто знает, вояка, что у тебя на уме... Вялым не дают ордена. Хотя и накладочка с тобой: с эдаким оружием одолел лютого врага, а плюёшься на него, как на горячий ухват. Какой же ты патриот?

– Ну в свою компанию не затягивай. После того, что довелось повидать и пережить на фронте, меня больше пугает сама жизнь, чем смерть.

Когда подъехали к дубу, Григорий с укоряющим удивлением сказал:

– Дуб-то оголённый, как скалка, а говорил...

Сорокин промолчал. С помощью приготовленной заранее жерди он приподнял от земли дуб за комель, а Григорий без команды подкатил под него передок. Сорокин увлечённо и торопливо охмутил комель с передком добротной кудельной верёвкой, которую припрятывал под сухими листьями у куста орешника.

– Гляжу, справный. Сало вдове, чай, каждый день кушаешь, – шутливо заметил Григорий, предвидя, что своим нарастающим независимым тоном разгневет Сорокина.

Своё недовольство шутками Григория Сорокин замял отвлекающим вниманием жестом: он растопыренными пальцами обеих рук рывком сорвал листья с веток липняка и тут же ими вытер своё вспотевшее лицо, а потом этот комок из листьев бросил Григорию под ноги.

– Думаешь, сытно ем, значит, дольше вашего проживу? Ничего подобного. Нервы, милый, натянуты потуже вот этих тяжей.

– У кого какой организм. На фронте, бывало, сутками без еды – и ничего. А некоторые на землю валились. И зачем меня называешь на «вы»? – спросил Григорий, хотя и разгадал его намёк.

– Имею в виду всех таких худеньких, как ты, сказал Сорокин, цепко уставившись ему в глаза.

«Верно, нервишки у него накалены до предела. Может, чёрт лесной, пугает? За себя не боюсь, Стёпку жалко. Не дай Бог, если сейчас подбежит сюда и увидит человека с автоматом», – безнадежно успокаивал себя Григорий.

Дуб они вывезли спокойно, легко и быстро, как будто подружились и общее дело справили с радостью. Лошадь ни разу не остановилась. Однако от короткого и запального рывка к дороге Точка вдруг беспокойно заподнимала голову и забила копытом, поднимая пыль.

Сорокин успокаивал лошадь, но не забывал косо и пристрастно поглядывать на Григория.

«Гляди-ка, лесной чёрт, прямо-таки присвоил лошадь, ни на шаг не отходит от неё. Или решил до села волочь бревно?» – оскорблённо подумал Григорий.

Взаимная недоверчивость подтолкнула его припомнить, как в тылу врага брал «языка», и сейчас он в одно мгновение обезоружил опешившего Сорокина. Широкими шагами отошёл к камышам, где поднял автомат стволом к небу и нажал на спусковой крючок. Автомат молчал.

Приподнявшись на носках, Григорий размахисто и изо всех сил метнул автомат за камыши, в болото. До слуха явственно и чётко донёлся чавкающий всплеск густой воды.

Ежеминутно ожидавший от фронтовика именно этой выходки, Сорокин проклял собственное ротозейство. И, не раздумывая, напористым прыжком навалился на Григория. Между ними завязалась неравная потасовка: несмотря на свой свежий вид и на неистраченную силу в руках, Сорокин дважды беспомощно оказывался на коленях перед Григорием.

– Добром прошу, земляк, отстань. Мальчишки, что ли, какие, бороться-то, – задыхнувшись от возни, Григорий поспешно отступил к лошади. И от неё досказал: – Рассердишь, тогда в болотной тине искупаю, за неделю не отмоешься. Таких, как ты, мне пятерых хватит. Не лезь, пожалуйста.

– Ах, офицерик, отсиделся в блиндаже в три наката. И бабёнкой не брезгал. Для вашего брата и призывали их. Знаем, знаем... Но за то, что ты меня поставил на колени, не прошу. За мной должок не упадёт.

Выслушав угрозу, Григорий еле-еле устоял на ногах, вовремя привалился к оглобле. Как только Сорокин скрылся в чаще, Григорий снял с себя прилипшую гимнастёрку: свежая нательная рубашка была в мелких пятнах крови. Он и рубашку снял, чтоб на кровоточащие ранки наложить листья подорожника. Мало того, давала о себе знать и уже привычная ломота под правой лопаткой.

«Он явно угрожает, потому и не станет мстить. Связался с дураком, сам одурачился», – подумал Григорий, вернувшись на поляну.

Стёпка дополнил ягодой и второй туесок. Прикрепил его рядом с первым. И пока отец отсутствовал, он осмелился взять в руки косу. С первого же замаха нос косы впился в заросшую мхом кочку, откуда по её лезвию чёрной ниточкой поползли муравьи. Стёпка дёргал, дёргал косу, а она ни с места... пока отец не подошёл.

– Сынок, погоди, ещё накопишься. Какие твои годы!.. Вот минет двенадцать годков, сделаю косочку под силу, тогда и поучишься, – с лёгкой строгостью сказал Григорий.

Волнение в нём не улеглось, руки дрожали. Поэтому он поскорее взял косу и перешёл на другую поляну.

Стёпка и сейчас выслушал отца, упрямо уставясь

ему в глаза. Он давно заметил, что взрослые люди иногда, чтобы пощадить детей, говорят с ними мягкими словами, чаще обманчивыми и неискренними. А то просто сказки рассказывают. Стёпка хотел, чтобы отец не лукавил, а открылся перед ним начистоту, как и перед мамкой.

Он шёл следом за отцом и в скошенной траве выбирал землянику с длинными стебельками, потом веточки связывал венчиками, как мамка связывала на зиму созревшую калину. Но переспевшая земляника осыпалась.

– Собирал бы в туесок, – мимоходом посоветовал отец.

Стёпка показал на толстую липу с висевшими на ней двумя полными ягодой туесками.

– Сразу бы и сказал, – с одобрительной улыбкой отозвался Григорий, про себя прикидывая: «Видать, долго провозился с рыжим пузаном, если Стёпка один заполнил туески». Он повесил косу на сучок липы и взялся мастерить третий туесок. Берестой запаса ещё ранним утром. Не столь ладной получилась посудина, но пообъемнее первых.

– Папк, куда водил лошадь?

– А-а. Да озёрной водой купал её, – поглядывая на Точку, ответил Григорий. – Купал, купал, а без толку, раздражил только. В эдаку жару от слепней не спрячешься и в погребке. На, наполнишь и этот туесок. Дома наедемся досыта ягод с молоком, – помечтал Григорий, подавая сыну лесную посудину. Насчёт молока он малость приврал, даже смешно стало. И удивился, что внимательный Стёпка не поддержал его фантазию: значит – ему не до смеха.

– Папк, когда ты долго не давал о себе знать, мы с мамкой по краю леса собирали землянику и на твою долю. Мамка говорила: «С папкой бы пошел глубоко в лес, к полянам, которые от ягод, как прошный платок».

Григорий прикашлянул и спросил:

– А кого боялись? Волка?

– Нет, Сорокина.

– Какой сороки? Белолобой, что ли? – намеренно переспросил Григорий, будто и вправду не расслышал.

– Нет, какой-то дядя по лесу бродит, Сорокиным зовут. Он в землянке ночует. Вот его и боялись.

«Его хоть и сейчас бойся», – подумал Григорий.

– И как только фронтовики стали возвращаться домой, так Сорокин затих, – досказал Стёпка.

– А на окраине леса попадались ягоды? – просил Григорий об ином. Ему показалось, что Стёпка подглядывал его потасовку с Сорокиным, поэтому вскользь и прощупал отца.

– Тем летом с мамкой собрали ягод поменьше нынешнего, – сравнил Стёпка. – Сейчас насобираю почти один, а сестрёнки не поверят и засмеют. Не люблю пустые насмешки-пересмешки.

– Не переживай – скажу, что вместе наполнили.

– Мамка рассказывала, ты с лесного покоса всегда с ягодами приходил. Мы ели, а ты поглядывал и посмеивался. Припоминаю, мамка кормила меня с ложечки.

– У тебя чуткая память, – похвалил Григорий.

– Папк, нынче поешь ягодков? Мамка в погреб поставила полгоршка молока.

У тёти Сони заняла. Корова отелится – вернём.

– Отъягодничал я, – задумчиво сказал Григорий.

– И я не буду. Пусть девчонки живут на ягодах, по-крупнее титьки вырастут.

– Не мудри, Степан, а то мамку доведёшь до слёз.

– Так это я развеселиваю мамку, а она говорит – озорую.

– Ох, смотри, не забывайся, а то поозорую... – уклончиво приструнил его отец, пряча от сына улыбку. От его разговора дома расхохотался бы. – Мальчишка понятливый, а вот арифметику лбом таранишь, как бычок пырячий...

– Понятно, понятно, – послушно отозвался Стёпка. – Папк, а что не велел нам с мамкой приехать к тебе в госпиталь? Далеко ехать, что ли? Мы б пешком дошли.

– Степан, разве на косьбе мучают серьёзными вопросами? Не на печи греем бока.

Стёпка отмахнулся. Он согласился с отцом.

«Своим любопытством с ног валит. Мать затебил: мамка, мамка... И ей бы с нами поехать. Здесь сынишка ловит мою промашку. К груди, будто невзначай, легонько прикасается ладошками, вроде самому охота разузнать секрет под отцовской рубахой. От радости нынче исхвастается перед товарищами, как ягодничал на Берёзовом поле», – подумал Григорий. С каждым днём он убеждался – это его и успокаивало, что при случае Стёпка не даст себя в обиду.

Стёпка затаился поймать крохотную ящерицу на ладошке бы уместилась, но та скользнула в дупло толстой липы с раздвоенной вершиной, в развилке чернело гнездо из тонких сухих веток.

Он сел между двух толстых корней липы, похожих на витые рога соседского барана Васьки, привалился спиной к шершавой коре, и глаза сами закрылись... Туесок выпал из рук и свалился на бочок, верхние ягоды выкатились в траву. В него заползли коричневые муравьи, облюбовавшие посудину для жилища...

Стёпка проснулся от боли в онемевшей руке. После короткого, но крепкого сна он не сразу понял, где находится. Пугливо прислушавшись к лесной тишине, даже на осинах не дрожали листья, Стёпка услышал лишь жужжание мух и слепней. Лесное безмолвие обострило его испуг.

Он поднял туесок, порывисто встал на ноги и, проходя мимо крупных ягод – не до них было, вышел на дорогу. Вдруг замер от удивления, увидев отца раздетым по пояс. Гимнастёрка была подоткнута за опушку галифе. Стёпка вспомнил сестрин рассказ об отцовых ранах, которые тот скрывал перед ними, детьми, и мигом отступил на шаг, спрятавшись за кустом.

Григорий вилами сгруживал ряды травы и приближался к дороге, поэтому Стёпке хорошо были видны розовые, с кровоподтеками, шрамы, в три ряда опоясавшие грудь отца.

– Папка, кто тебя супонью стянул?! – крикливо выпалил Стёпка, шагнув ему навстречу. Споткнулся и выронил из руки туесок, рассыпав последние ягоды у ног отца. Стёпка качнулся к отцу, обнял его за ноги и заплакал.

– Ну-ну, расслабляться – не мужское дело. Гляди, коленками подавишь земные звёздочки, – успокаивал он сына, сам испугавшись его робости. И подосадовал на себя: клялся же не снимать нательную рубашку при

детях... Жарко и душно, не удержался.

Сморгнув слёзы, Стёпка исподлобья позырнул в смеющиеся глаза отца и, словно обидевшись, решительно отцепил руки. Он нехотя принялся подбирать обронённые ягоды, которые мялись в пальцах, точно пальцы не чувствовали их.

– Собирай на ладонь, а с ладони в рот. Потом в туесок вдвоём наберём новых, – наказал Григорий. Он проворно надел на себя гимнастёрку. Нательную рубашку, намокшую от пота и крови, ещё раньше скрутил узлом и сунул в глубокий карман галифе. – Ну, что приуныл? Подавленный какой-то, – тормозил Григорий сына. – Раз побывал на покосе, считай – мужиком стал. А хочешь знать, откуда на мне ссадины? Да под бомбёжкой осыпало осколками, точно градом...

– Григорий замолчал, покаявшись в собственной откровенности. Поправив и одёрнув гимнастёрку, взялся за вилы.

– Папк, магнитик прижать к твоей груди, не упадёт?

– Упадёт, сынок. Хирург вызволил все осколки. Я на память оставил и привёз в кисете. Дома покажу. Не испугаешься?

– Нет, не забоюсь. Колька Салазкин из рогатки стрелял отцовскими осколками. Ему за них попало.

«Жалко, не застал Тимофея Салазкина живым, от ран помер перед моим приходом. От кого же Колька попало? Он у него один. Может, Настасья вышла замуж?» – погадал Григорий.

Он не интересовался сельскими новостями, так как не мог примириться с фактом, что в село не вернулись почти все его ровесники, которых родственники давно оплакали. Но к Стёпкиным новостям он прислушивался внимательно.

– Папк, в один замах не накопишь норму. Кончай, а то намаешься косою, опять на печку поползешь со сверчками воевать и песни петь, – настаивал Стёпка. Он даже насупился.

«Эх, видать, мать попросила его сдерживать меня, чтобы поспокойнее косил, а навильники поднимал небольшие», – подумал Григорий. Сыновняя забота вызвала у него улыбку.

– Зима, Степан, скажет точнее нашего: много или мало накопили. В густой траве ноги вязнут, точно по глубокому снегу бредёшь. Когда она на корню сочная и зелёная, то кажется, будто трава вечно такая. Избыток расслабляет человека. Вот и не горюй, – объяснил он Стёпке, который не переставал упрямо заглядывать ему в глаза.

– Однажды на фронте я временно ротным побыл. При мне случилась странная история, – издалека начал Григорий, поглядывая не на сына, а на дорогу, отчего казалось, он рассказывал лишь самому себе. – Тогда рота пополнилась лишь одним солдатом. А в нашей роте служил его отец. Они встретились, обнялись, поплакали и прочее... Прервалась их встреча в суматохе, немец, видать, поглядел, малость пострелял в нашу сторону. Первые дни старшина щадил новобранца, на пост не посылал. А потом и ему пришёл черёд. Посты всегда я сам проверял. Осень стояла холодная и мокрая, а всё равно солдаты дремали. Сказывалась усталость и прочее. Да и немецкая разведка частенько прощупывала нас, искала лазейку в тылу, точно ей не терпелось узнать, из-за чего долго не на-

ступаем. Иногда нагло напирали... Вот пошли со старшиной проверять посты перед самым рассветом, как вот мы нынче с тобой. И что же думаешь? – обратился он к оцепеневшему от внимания Стёпке.

– Папк, не дышу и слушаю, – ответил Стёпка. Он и от комаров не отмахивался.

– Нет, ты дыши, но слушай: в одном месте должен стоять новобранец, а вместо него притаился его батя. Я сделал вид, что так и должно быть. И в следующие ночи отец на посту дежурил за сына.

– Ого, отец отдувался за сонливого сынка? – спросил Стёпка, в глазах которого горел насмешливый огонёк.

– Я того парня не виню. Отец расслабил его, а доверие излишнее тоже портит. Он был свежий, веселый и бодрый. Стал задираться. А отцу и днём не до сна: в роте он считался фигурой заметной и ключевой, всё время на глазах должен быть, чтоб было с кого пример взять. Как-то отозвал его в сторонку, где тихонько раскрыл его ночной «секрет», так сказать, семейный уклад потревожил. Мужик выслушал мои доводы с таким униженным видом, будто я его обвинил в воровстве. Попросил прощения и прочее.

– Папк, а что такое «прочее»?

– А-а. Ну, слабость свою объяснил тем, что-де сын попал на фронт под конец войны, вот и жалко единственного наследника... Дома ждёт невеста, девушка хорошая. Они с малых лет дружили. Сын-де славущий в округе столяр, плотник и вальщик. Одним словом, жалко парня. А кому не жалко?

– Папк, дедушка говорил, что жалеть можно, но эту жалость нельзя наружу показывать, – осторожно, потому и невнятно проговорил Стёпка.

– Верно, сынок. Я тому мужику сказал, что жалостью-то испортит парня, потом хуже будет. Всё должно быть в меру, – без прежней живости продолжил Григорий: сам ослаб и голос ослаб. – После тот солдат открыл мне главный секрет: однажды ночью к нему подсел старичок при белой бороде и попросил табачку. Солдат дал ему щепоть табаку. Старичок вместо благодарности напропорочил бывалому солдату: скоро-де с сыном повидается, прямо на передовой, да без радости. И старичок тот пропал. А солдат испугался и призадумался.

– Папк, я думал, только я пугаюсь, – прервал его Стёпка.

– Вот потому и баловал сына. Сам же на посту задремал крепко, а немецкая разведка выкрала постового. Правда, мы обошли их. Немцам деваться некуда, отпустили его... После того случая отца с сыном разлучили, то есть раскидали по разным полкам.

– Папк, ты велел?

– Они сами того заслужили. Где они теперь, не могу сказать. Может, живы и здоровы, вспоминают обо мне?

Как только отец замолчал, Стёпка представил его фронтowych товарищей на поляне с косами. Они будто бы накопили травы ещё на два возка...

Тем временем Григорий подпятил лошадь к фуру и позвал Стёпку на помощь. Он с земли приподнял фуру за переднюю подушку и опустил на ось, а Стёпка металлическим сердечником прицельно поймал отверстие оси и подушки.

Григорий погладил Стёпкины рыжие волосы и

сказал:

– Не любишь постригаться, а всё равно перед первым банным днём постригу.

Стёпка держал лошадь, а отец вилами покидал траву в фуру. Возок получился повыше лошади.

Исподволь собрались в дорогу, поехали домой. По пути и третий туесок наполнили ягодой. Все три туеска Григорий приладил в траве на возу, а Стёпке велел поддерживать их, чтоб на бок не завалились.

Стёпке хотелось идти рядом с отцом, поэтому самонадеянно буркнул:

– Не усую, папк. На сухой дороге спрыгну на землю.

– Молодец! Запомнил дорогу, можно в разведку брать, – похвалил его Григорий.

– Мальчишки обомлеют от зависти, когда покажу им ягоды. Хвосты-то прижмут, – усаживаясь на возу, сказал Стёпка. Он был доволен и ягодами, и похвалой отца, и тем, что его ожидало.

– А какой толк перед ними хвалиться? После нас они тоже с отцами поедут. Мы нынче с ягодой, а они завтра наберут их ведрами. Всем хватит. Без мужиков-то лес одичал.

Избегая его настойчиво-упрямого взгляда, Григорий ждал от Стёпки острого ответа.

– Папк, у моих товарищей отцы не приехали с войны.

– Ах, сынок, забылся я... – виновато поправился Григорий. – Не с отцами, так с матерями или со старшими братьями поедут твои дружки. На полянах трава целёхонька, раньше нас сюда никто пока не заглядывал.

Григорий свернул с песчаного лесного большака на глухой и забытый в войну тенистый отводок дороги. Солнечные лучи терялись в верхних ветвях старых берёз. Отводок местами порос мелкими осинками, упругие вершинки которых щекотали брюхо лошади и сбивали с него налипших слепней.

Перед крутыми спусками Григорий брал лошадь под уздцы, сдерживал напор возка, а на подъёмах толкал его сзади, но чаще всего, тяжело дыша, он виснул на задке фуры.

– Ох, жёнушка Вера, дочки родные, не увидимся... – шептал он, оглядывая вдруг побелевшие руки, точно их осыпали мучной пылью. Собравшись с последними силами, он обратился к Стёпке: – Сынок, с возка ягоды свисают бубенчиками. Слышишь, звонят? Травку раскидаем сушиться, вот сестрёнки и подберут ягодки. А ты на конюшню отведёшь Точку. – Он добавил было, чтоб Стёпка берег сбрую, но вовремя спохватился, иначе мальчишка уловил бы его прощальный тон.

Когда подъёмы и спуски остались позади, дорога пошла ровная, Григорий вскарабкался на возок и лёг вниз лицом. Минуты три спустя вожжи выскользнули из его безжизненных рук под ноги лошади.

Точка встала и повернула голову на хозяев.

– Папк, ох и быстро до села доехали! – вскрикнул Стёпка. – Не зря дедушка говорил: дорога домой короче всех, – тихим и ровным тоном досказал он.

Потолкав вялое тело отца и подумав, что его сморила усталость, Стёпка спрыгнул, достал вожжи, завязал их за фуру, а сам пошёл впереди лошади, не догадываясь, что на возке отец уснул вечным сном.